

Ольга Танган

1941-1943:

эвакуация из Одессы в Ташкент

Из дневников Амшея Нюренберга и Нины Нелиной*

Предлагаются вниманию материалы из архива художника Амшея Нюренберга (Елисаветград, ныне Кировоград, 1887 – Москва, 1979), чей творческий путь начался в Одессе. Здесь он учился в Одесском художественном училище у Кириака Костанди. Отсюда в 1911-12 годах он отправился в Париж для продолжения образования и изучения французского искусства. Свою профессиональную карьеру Нюренберг также начал в Одессе в 1910-е гг., став одним из основоположников Общества независимых, объединившего «одесских парижан» – художников нового авангардистского направления.



Нина Нелина. 1950

Позже в художественной деятельности «одесских парижан» стала принимать участие его жена Полина Мамичева**, которая обучалась живописи у своего мужа. Публикация дополнена дневниками дочери художника Нинели Нюренберг (Москва, 1923 – Друскининкай, Литва, 1966),

* Из архивов Третьяковской галереи и архива Государственного академического Большого театра.

** Полина Мамичева-Нюренберг (Москва, 1894 – Москва, 1978) – жена Амшея Нюренберга и мать Нины Нелиной. В молодости занималась балетом и живописью.



А. Нюренберг. Автопортрет. 1945

впоследствии солистки Большого театра, выступавшей под именем Нины Нелиной, жены писателя Юрия Трифонова и матери автора публикации.*

Амшей Нюренберг обладал не только живописным, но и незаурядным литературным даром. Он проявился как в его многочисленных репортажах и искусствоведческих монографиях «Самарканд и Ташкент» (М. – Ташкент, «Рисоля», 1922) и «Поль Сезанн» (М., ВХУТЕМАС, 1924), так и в мемуарно-исторических книгах «Воспоминания, встречи, мысли об искусстве» (М., «Советский художник», 1969) и «Одесса – Париж –

Москва» (М., «Мосты культуры», 2010).** Кроме этого, Нюренберг всю жизнь вел дневниковые записи. Они часто напоминали небольшие новеллы с выразительными сценами, диалогами и неожиданным концом. К ведению дневников Нюренберг приобщил и свою дочь, которая в годы военной эвакуации 1941-1943 гг. находилась вместе с отцом и матерью, что и запечатлела в своих записках. Если мать Полина Мамичева инициировала занятия дочери по фортепиано и вокалу, то отец научил ее заносить мысли и увиденное на бумагу, подмечать детали и давать им свои оценки. Иногда записи дочери и отца совпадали, но часто они делали разные акценты. В частности, у Нели был свой круг общения, так как она училась в эвакуированной в Ташкент Ленинградской консерватории в классе профессора Марии Бриан***.

* Ольга Танган – внучка А. Нюренберга, дочь Н. Нелиной и Ю. Трифонова, к. фил. н., проживает в Дюссельдорфе.

** См. <http://www.amshey-nurenberg.com/biography.php?sprache=russisch>; <http://www.amshey-nurenberg.com/literature.php>

*** Мария Бриан (1886-1965) – русская певица (лирическое сопрано), вокальный педагог. В 1913-14 годах принимала участие в «Русских сезонах» С. Дягилева в Париже и Лондоне. Выступала в Большом театре. В 1920-50-х годах – профессор Ленинградской консерватории.

20 июня 1941 года Нюренберг приехал из Москвы в Одессу вместе с Полиной и 18-летней Нелей. Дочь только что окончила общеобразовательную школу и музыкальную школу Гнесиных. Нюренберги остановилась на квартире у своих старых друзей – инженера Оскара Мишкиблита и его жены, живших недалеко от Художественного музея (Щепкина, 8, кв. 2). Они поселились близко от моря. Художник мечтал написать новые морские пейзажи, виды одесского порта с большими кораблями. Довольно скоро Нюренберги и Мишкиблиты снова оказались вместе, но теперь уже в эвакуации в Ташкенте.

Через два дня после приезда семьи в Одессу началась война с Германией, что подробно описано в дневнике Нюренберга. Для него, пережившего первую мировую и гражданскую войны, многое казалось знакомым. Он верил, что нападение Германии будет остановлено, поэтому поначалу был настроен достаточно уверенно. Однако ситуация усугублялась, и дневниковые записи становились все более драматичными. Но и в трудных ситуациях Нюренберга не покидало присущее ему «одесское» чувство юмора – он умел подметить смешное как вокруг, так и в себе самом. Он также обладал особенностью отвлекаться от особенно тяжелых размышлений, либо переносясь в прошлое, в годы юности, проведенные в Париже, либо переключаясь на нечто позитивное, в первую очередь на мысли об искусстве. К примеру, когда в начале 1950-х в стране развернулась борьба с космополитизмом, Нюренберг писал в своем дневнике:

«Вспоминаю, в Париже в 1911-12 годах в годы голода и надежд я часто посещал Лувр, ту лестницу, с верхушки которой на меня глядела крылатая Ника. Сколько раз она меня согревала, окрыляла! Уйдешь от нее другим, радостным, легким. Тоже она меня подкармливала витаминами оптимизма».

Из дневника А. Нюренберга 1952 года

Вскоре после начала войны Нюренберг с семьей вернулся в Москву, а в октябре отправился в эвакуацию в Ташкент. Вместе с другими эвакуированными Нюренберги перемещались по стране на случайных поездках кружными маршрутами с непредвиденными остановками, из-за чего путешествие заняло около месяца. Жизнь в Ташкенте оказалась немногим легче. Стоило больших усилий добыть самое необходимое – хлеб, сахар, крупы, мыло, не говоря уж о таких важных для художника принадлежностях,



Жена художника Полина Мамичева (сидит с веером), Амшей Нюренберг (стоит слева), теща художника Неонила Мамичева (сидит), рядом ее вторая дочь Зинаида с мужем и сыном. Одесса. 1918

как кисти, краски, холсты. Но и в эти годы Нюренберг оставался верен себе и, несмотря на трудности и возраст, систематически делал наброски и зарисовки, создавая свою «Антифашистскую серию». Туда вошли образы беженцев, несчастных скитальцев, городских жителей, выброшенных из привычной жизни. Большую часть из них составляли женщины, дети, старики. Художник писал и большие тематические полотна. Суровые, непроницаемые лица, страшные сцены и сами за себя говорящие названия: «Здесь их расстреляли», «Горе», «Последний путь», «Вы должны сами рыть себе могилы», «Фашисты в музее», «Прощание», «В ожидании поезда», «Очередь

за тарелкой супа» и т. д. Другая часть работ Нюренберга того времени была посвящена Ташкенту с его азиатским колоритом. Здесь он продолжил начатую им еще в 1920-е годы «Восточную серию» и, переключаясь с военной тематики, писал городские пейзажи, праздничные сценки, восточные базары, портреты узбекских музыкантов.

В 1943 г. Нюренберги вернулись в Москву, а уже в 1945 г. «Антифашистская серия» была представлена на персональной выставке художника в Центральном доме литераторов.*

В эвакуации Нюренберг постоянно вел свою дневниковую хронику, наблюдал за людьми, записывал их разговоры, подмечал обороты речи, особенности внешнего облика. Он часто использовал прямую речь, что было нетипично для дневниковых записей. Словесные портреты Нюренберга были не менее живыми и яркими, чем персонажи, изображенные им на холсте или бумаге. Его стилю ведения дневников во многом следовала дочь, также запечатлевшая в своих записках реальные сцены с диалогами.

* См. программу выставки 1945 г.: <http://www.amshey-nurenberg.com/exhibitions.php>

Дневниковые записи Амшея Нюренберга и Нели Нюренберг продолжали и дополняли друг друга. Разница заключалась в том, что Нюренберг записывал впечатления спонтанно, по следам событий, а Нелина писала дневник не столь регулярно, в связи с чем могла обдумать пережитое и дать взвешенные оценки. У нее «большое видится на расстоянии». Уникальный документ отца и дочери, предлагаемый в настоящее время читателю, публикуется впервые.

Дневники Амшея Нюренберга

20 июня 1941 года. Одесса. Вокзал

4 часа дня. Наш московский поезд весь в пару. Несколько часов тому назад был жестокий, громовой дождь. Носильщик нам помог вынести вещи (9 штук!).

Ноги попадали в лужи. Дул сырой ветер. Сели мы в обитый брезентом грузовик. Таксомотор для скромных, не ищущих люкса пассажиров. Взяли с нас по 3 рубля и дали нам билеты.

Улица Щепкина, 8, квартира 2. Ося нас тепло встретил. Крепкие объятия, поцелуи. Вечером, сидя в его уютной большой комнате, мы щедро планировали июнь и июль на берегу Черного моря.

Нелюся раскрыла уже чемоданы, что омрачило Полину. Спали мы крепко, скульптурно устроившись на низком диване. Полина и Нелюся – головами к открытой балконной двери. Я – у их усталых ног.

(21 июня)

Большое событие в тихой одесской жизни – хождение на базар. Большая площадь, пестрые деревянные рынки с наивными вывесками, бесчисленные палатки, сундуки, столы (в виде голландских натюрмортов). И всюду яркая зелень, овощи, цветы – коричневые лица темпераментных одесситок. Гудение густых и смачных голосов. Остро пахнет луком, яблоками и рыбой.

Я и Полина с корзинами «тыкаемся» в самых бойких районах, расспрашивая колхозниц о ценах на фрукты и овощи. По двадцать рублей мы покупаем столько добра, что оно не умещается в наших корзинах. Спешим домой. Нелюся нас

поджидает с горячим чайником и старательно нарезанным одесским белым хлебом.

После обильной фламандской закуски мы приступаем к организации текущих дел. Полина дошивает Нелюсе голубое платье, которое она будет носить у моря. Нелюся штопает себе продранные белые носки. Я раскладываю свою художественную галантерею и натягиваю холст на подрамники. В голове блистательные пейзажи, солнечные, многообещающие.

22 июня

Ося предупредил нас, что в 12 часов выступит т. Молотов с какой-то большой тревожной речью. Меня это очень обеспокоило. Не случилось ли что-нибудь? В 12 ч. мы всей семьей стояли у приемника. Предчувствие меня не обмануло:

«На нас напала фашистская Германия! Убито уже много народу... Невыполненная статья Договора... Фашистская орда уже атакует нашу границу...»

Мы все ждали этого, но теперь нам сказали: война! Мы все побледнели. Первая мысль – срочно вернуться в Москву. Ближе к ней, к близким и дорогим людям.

Я бросился на вокзал. Одесса неузнаваема. Улицы заполнены народом. Кучки людей, спешащих в магазины. У булочной огромные очереди. Темпераментные одесситки спешат запастись хлебом. В трамвае мобилизованные. Одеты в новую военную форму – крепкие тяжелые сапоги и пилотки. Лица спокойные, уверенные. Самые сейчас спокойные в городе лица.

На вокзале очереди. У московской кассы человек сто. Рядом со мной полная сильно вспотевшая еврейка. Она тщательно и мудро выбирает свои слова:

– Как вы смотрите на все это? – обратилась она ко мне. – Не думаете ли вы, что это немцы с англичанами устроили? А? По-моему, так. А?

– Не думаю, – ответил я.

– А я думаю, – сказала она. – Буржуазия всегда между собой договорится. А?

– Оце заваруха будэ, – подмигнув мне, сказал один украинец с поседевшими усами.

В очереди первые сенсационные обывательские слушки и слухи. Высадился десант, его поймали и всех вырезали.

Ровно в 4 часа я оказался первым у окошечка, но кассир, закрыв окошечко, бросил нам: «Перерыв на час».

Ко мне подходит молодая женщина в легком кремовом платке, убитое лицо, заплаканные глаза, сухие черные губы.

– Гражданин, – слышу я тихий голос, – вы должны меня спасти. Возьмите мне один билет на Москву. Я здесь с двумя малолетними детьми, без денег. Выпросила на билет. Неужели вы мне не можете? Если вы мне откажете, я упаду здесь.

Ее глаза влажны.

– Хорошо, – говорю я, – постараюсь. Но будьте осторожнее с передачей денег. Увидят – вас изобьют.

Через несколько минут у моего лица – лицо пожилой женщины.

– Спасите меня. Возьмите мне билет в Харьков. Я больная, приехала в Одессу лечиться, и вот.

Оратор на буфетной стойке:

– Товарищи, на наш мирный советский народ напали фашисты. Они думали захватить нашу границу врасплох и ринуться на нашу советскую Родину, но мы им дадим достойный отпор. Все как один встанем на защиту нашей Родины!

После первого выступил другой оратор, призывавший к дисциплине и организованности:

– Боритесь с провокаторами и диверсантами!

Картины знакомые. Точно передо мною воскресли сцены из гражданской войны. Много общего. Есть и разница. Народ теперь более дисциплинированный, более организованный, а главное, наша славная, простая и храбрая Красная Армия, охраняющая наш покой и жизнь. Она всему придает силу и уверенность.

В 5 ч. в вокзал вбежали трое служащих и громко заявили:

– Все на площадь. Ни один не должен остаться. Воздушная тревога.

Первая воздушная тревога! Народ бросился в садики, в кусты, в окружающие вокзальные помещения. В воздухе виднелись наши ястребки. Они плавно неслись. Колхозники, сидя на своих чемоданах и ящиках и покуривая махорку, обменивались впечатлениями.



А. Нуренберг. «На одесском бульваре». 1941

– Це наши шукают фашистов, – говорили колхозницы, сгрудившись в кучки и выглядывая из кустов. На фоне зелени их яркие платочки казались цветами.

Милиция охраняла нас, следя за тем, чтобы мы «не носились по открытым местам и не показывались немецким аэропланам».

Домой ушел без билетов. Хотелось описать сценки прощания красноармейцев.

Вечером была первая ночная тревога. Был настоящий ночной бой, как его изображают. Мы его наблюдали, стоя в дверях первого этажа нашего дома.

Все жильцы спустились в подвальную квартиру сапожника, казавшегося в одну ночь героем. Он уступил женщинам с детьми и старикам все свои стулья, сундуки: «Садитесь, товарищи».

Курьезно было наблюдать, как «бывшие» люди величественно спускались к сапожнику.

– Не сыровато здесь? – спросил один старый шамкающий тип.
– Идите, идите, товарищи, – гостеприимно приглашала жена сапожника.

– Не курите, ради Бога! Не зажигайте спичек. Товарищи, не выглядывайте! Говорите тихо.

Бой разгорался в голубом небе. Две яркие серебряные полосы прожекторов цепко держали малюсенькую точку. Зенитные пулеметы обрызгивали ее фосфорическими струйками. Точно фейерверк!

За мои руки крепко держались Полина и Нелюся. Полина все время повторяла:

– Боже, на нас может упасть снаряд. Ради Бога, не высовывайтесь.

После отбоя мы поднялись наверх к себе и, не раздеваясь, легли спать. Я спал по-боевому, постлав пальто свое на полу, укрывшись пиджаком.

23 июня

Солнечный теплый день. Сейчас бы сидеть на берегу моря и писать пейзаж в голубых и золотистых тонах. Увы! Пропали все мои пейзажи и натюрморты...

Рассказывали, что на берегу охрана, пушки, пулеметы, зенитки и проволочные заграждения. Купальщикам каюк.

В 11 ч., когда я возвращался (с рынка) с клубникой и редиской, раздались завывания сирены. Я успел добежать до нашего дома. Все уже были в тревожной форме и ждали меня с превеликими волнениями.

Днем в подвале веселей. Народ не так мрачен. Едят, пьют и тихо беседуют. Кто-то даже пытается шутить:

– Дай Бог, чтобы Гитлеру так весело было на сердце.

– Я готова, – заявила одна женщина, – десять раз в день спускаться в погреб, лишь бы один раз увидеть эту собаку в могиле.

– Детям все это кажется забавным. Они смеются над нашими волнениями.

– Курьезно. Во дворе, в сарае, корова. В минуты тревоги она мычит.

Активный член ПАХО* сказал:

* Предположительно Производственный административно-хозяйственный отдел.

– Дворничихе нашего двора надо дать противогаз.

Ходили на вокзал. Уехать нелегко. Липсман* обещал помочь (через НКВД). Заходил в Художественный музей (ул. Короленко, д. 5). Там собираются упаковать наиболее ценные картины. Мельком через окно взглянул на море. Оно такое ярко-синее и такое равнодушное.

Сегодня распространилась весть о том, что в Германии – Революция. Люди обнимали друг друга, целовались и плакали от радости. Но предполагаю, что кто-то пустил в ход провокацию.

24 июня

Бомбоубежище устроили в подвальных сараях. В Одессе сейчас много таких бомбоубежищ. Народ привык к ним. Жизнь вошла в свою колею. В булочных много хлеба и никаких очередей, на базаре много всего. В трамваях опять знакомые перебранки между кондукторами и не любящими платить за проезд одесситами. В парикмахерских важно бреющиеся сонные мужчины.

Липсман мне помогает достать билеты**. Мы сели в трамвай и поехали на вокзал, где у него есть знакомый чиновник. На углу Ришельевской и Греческой трамвай остановился. Тревога! В один миг вагон наш опустел. И куда девались только что живо болтавшие одесситы? Точно их вихрем унесло. Мы с подчеркнутым спокойствием слезли с трамвая и пошли по улице. Не успели мы сделать десяти шагов, как нас окружили и увлекли в подворотню.

– Нельзя ходить по улицам во время тревоги, – твердо заявила нам девушка лет 18 с развевающимися черными кудрявыми волосами.

Мы вынуждены были простоять под охраной минут двадцать. Пока не кончилась тревога. После отбоя мы решили вернуться в наш трамвай. Каково было наше изумление, когда мы увидели трамвай опять переполненным и в обычной бытовой одесской форме. Опять впереди вырисовывалась фигура рыжего вагоновожатого в безрукавке с голой бритой головой и белыми руками, которыми он лениво работал. Опять старая

* Липсман – знакомый Нюрнберга, работавший бухгалтером в НКВД.

** Имелись в виду билеты в Москву.

в лиловой майке кондукторша, до упаду ругавшаяся с беспечными безбилетными пассажирами. Трамвай тронулся, и я увидел на Ришельевской обычную публику. Она лениво плыла, задерживаясь, чтобы поделиться впечатлениями дня. Точно в театре. Декорации и статисты.

Вечером тревога нас опять загнала в газоубежище. Запасены лампы, под ногами настил, по которому ходим спокойно. У меня уже есть свои собеседники. Они знают самые последние известия, «ловят по радио за границу» и считают себя профессиональными политиками.

Собеседник Бейгельман. Он сидит на дубовой скамье, сложенной дворником, прислонившись к сырой стене. В руках незажженная папироса. Говорит он глухим голосом, не спеша:

– Это будет самая ужасная война. Прошлая империалистическая война будет казаться ребенком. Гитлер хочет нас сделать рабами. Но есть большевистский Бог – так этого не будет. Россия будет для него могилой.

Бейгельман улыбается. Этой улыбкой он хочет сказать, что он еще верит в большевистского Бога. Он посмотрел на меня, как бы спрашивая: «А вы разве не верите?».

– Верю, – улыбаясь, отвечал я. – И очень верю.

Получив мое согласие, он начинает развивать свою мысль:

– Они хотят напугать историю, на пушку ее взять. И потом делать с нею, что им вздумается. 200 миллионов людей – это тоже не фунт дыма. Да еще 200 миллионов советских людей! История уже знает бандитов, – сказал, усмехнувшись, Бейгельман, – и она их не боится. Ее криком не возьмешь.

Послышался звук отбоя. Двое мальчиков трех лет громко закричали:

– Мама, мама! Отбой, отбой!

Очень привычно прозвучало это новое слово у маленьких детей.

Бейгельман погасил лампу, закурил папиросу и, обнимая меня дружеской рукою, ласково сказал:

– Пойдемте. Надо набрать больше сил. Они сейчас очень пригодятся. Поэтому побольше ешьте и отдыхайте.

Да, большие силы нужны сейчас.

25 июня

С утра блуждаю по одесским улицам. Хочу накопить как можно больше впечатлений. Тайная мечта – посидеть часок у берега или вдаль от него, но так, чтобы хорошо видна была синева моря.

На углу Екатерининской и Дерибасовской у репродуктора народ. Ждут вестей. Особенно ждут сводок. Вокруг них вся жизнь. Лица сосредоточенные, углубленные в себя. Старики, женщины, молодежь. Встречались военные.

Видел знакомые по прошлым войнам сцены ухода на фронт и прощания. На бульваре Новотрубном я видел группу людей, по композиции и настроению напомнившую мне мои еврейские картины.

Мобилизованный, высоко подняв сынишку, говорит ему что-то нежное и смешное. Против бойца небольшого роста заплаканная жена. Рядом старик и старуха, всеми складками своей одежды говорящие о глубоком горе.

И все же над всей группой реет невидимое знамя недалекой радостной победы.

На обратном пути другая сцена. Мобилизованный со скатанной шинелью и противогазом за плечом, с винтовкой в правой руке стоит рядом с женщиной (узкие плечи и бледный затылок). На руках ее грудной ребенок, у юбки, прячась в ее складках, другой ребенок лет пяти.

Боец ей что-то говорил. Она его слушала рассеянно. Ее мысли были далеко. И вдруг трамвай с мобилизованными. Очевидно, знакомые, друзья. Они ему что-то крикнули. Быстро обняв жену, он бегом бросился к переполненному вагону. Женщина осталась с детьми в той же позе. Я ее наблюдал несколько минут. Она не могла двигаться. Наконец, собрав свои силы, она тихо поплелась в ту сторону, куда ушел вагон с ее близким, дорогим человеком.

В руках наших красноармейцев вижу новенькие автоматические ружья. Это все изобретения Дегтярева. Сердце радуется. Золотистое дерево и травленая синяя сталь. Кружевное дуло. Красноармейская рука любовно, крепко обнимает ствол. Пронесутся грузовики с вооруженными матросами. Можно было подумать, что это 1919, если бы не зеленатые широкие каски, точно не-

лепо посаженные на головы шляпы. Пролетели по Пушкинской мотоциклы с пулеметами, за мотоциклами грузовики с провизией. Гудки протяжные и развевающиеся вокруг высоких грузовиков брезенты, создающие тревожность.

Грузовики – с мобилизованными и близкими людьми. Встретилась какая-то часть уже бывших в огне красноармейцев. Одежда их покрыта черными пятнами. Это пот с черной кровью. Они напоминают замаскированные военные объекты.

В 1 дня я должен быть у места службы Липсмана. Сейчас 12. Успею походить по Александровскому парку и взглянуть хоть на минуту на море. В парке – ни души. Тихо. Буйно цветут две опоздавшие акации, пестрят цветники.

Я направляюсь к обрыву. В двадцати шагах от обрыва слышу: «Стойте! Сюда нельзя!». Поворачиваюсь и иду обратно. Радуюсь, что успел увидеть кусочек моря.

Жара меня утомляет. Ложусь на садовую скамью, подложив под голову пиджак. Дремлю. Кто-то меня будит. Открываю глаза: мальчик лет 15 в красной майке. Противогоза за плечом:

– Ваш документ?
– А ты кто?
– Позже узнаете.
– Ты еще слишком мал, чтобы проверять документы, – говорю я ему.

– Здесь спать нельзя, – строго говорит он.

Встаю и ухожу. Иду в сторону забора. Через минут 15 меня окружают трое. Опять: «Ваши документы!». Среди спрашивающих один в форме НКВД. Показываю.



А. Нюренберг. «Прощание». 1942

– А что вы тут делаете?

– Жду товарища.

Посоветовались и предложили мне уйти. Я ушел. Через минут двадцать меня остановили трое.

– Ваш документ.

Я разглядел их. Показал документы. Посоветовались и отпустили.

* * *

Шпиономания выросла до страшных размеров. Особенно она охватила молодежь. Сегодня на Ришельевской, когда я шел с Липсманом, к нам подошли две девушки. Одна из них, подавляя в себе улыбку, спросила:

– Дяденьки, скажите, вы не шпионы?

* * *

Сегодня опять сбили один фашистский стервятник. На него налетели наши ястребки и не выпускали его из объятий до тех пор, пока он не свалился. Наши летчики – герои – в высшем смысле этого слова.

Сегодня Липсман достал билеты. По этому случаю зашли в пивную «смочить горло» и на минутку отвлечься от всего и вспомнить буйную юность. Заведующий пивной, знающий Липсмана, подошел к нему и шепнул ему что-то на ухо.

– Амшей, – раздраженно сказал Липсман, – опять шпиономания. Надоело! Ну, я их сейчас проберу!

Когда кончили и вышли, нас обступила толпа пьяных морд:

– Шпионы!

Липсман обвел их гневным взором и вылил на их головы ушат ругательств, самых злых и циничных:

– Ну что, свой я или шпионский?

Двое улыбнулись:

– Свой!

– То-то же. Пойдем, Амшей.

И мы пошли, провожаемые звериным взглядом притихших пьяниц!

26 июня. Выезд из Одессы

Посадка ночью. Давка. Выстроилась длиннейшая очередь. Вокзал погружен в мрак. Идем ощупью. Плач детей и ругань милиции. Группа узбеков с мешками и чайниками. Беженцы из Кишинева. Молодежь в легких ситцевых платьях и соломенных шляпах.

Сели в вагон. Пьем нарзан и мечтаем о Москве. Отъезд без огня.

Ночью нас подняли. Пришлось уступить место.

– Товарищи, уступите место беженкам, едущим с детьми.

Уступили. Спали на чемоданах.

В Киеве нас перевели в коридор. Киевский вокзал. Черные массы. Поезд тихо подошел. Боимся бомбежки. Слышу, как кто-то ругается:

– Сволочь, туши сигарету, застрелю! Да ведь это все равно что сигнализация!

В вагоне дыхание войны. Сидят на чемоданах, полу. В коридоре, в тамбуре. Уборные завалены тюками. Пахнет потом, мочой, луком.

...

В Москве, 1941

В бомбоубежище сыро, темно. Мы спускаемся туда со сделанным спокойствием. Вдоль каменной стены дощатые скамьи, мешки под ногами, чтобы они не вязли, не зябли, и две керосиновые лампочки.

Председатель домкома меня уже ждет. Он любит поговорить о политике и считает себя опытным политиком. О Рузвельте и Черчилле он говорит, как о своих старых жильцах, с которыми он запанибрата.

– Что вы скажете о нашем Черчилле? Чистая работа! – улыбаясь, говорит он. – Да, не подвел, старина.

Или:

– Рузвельт этого никогда не допустит, верьте мне.

– Ну, – встречает он меня восторженно, – читали? Два в одну ночь. Их сбили одним ударом наши летчики. Наши летчики – чудотворцы. Ай да народ! Я сам видал бой. Двое взяли под ручку,

а третий сел сверху. Всё. Красота. Вам бы как художнику нужно было написать эту картину. Какая картина!

Пауза. Он закуривает. Потом быстро гасит: «Что я делаю?».

– Вчера мобилизовали младшего Васю, – продолжает он. – Со слезами радости провожали. Отдали третьего – лишь бы эту гадину уничтожить. Россию хотят съесть – стошнит. А сыновья у меня! Вы бы как художник их нарисовали. Эх, дети, как у Тараса Бульбы, только с большевистской душой.

18 июля. Москва, Верхняя Масловка

Весь день провел в мастерской, прощаясь с начатыми и неоконченными работами. Я их долго разглядывал, точно их кто-то отнимал у меня. Закончу ли я их когда-нибудь? А как сейчас хочется придать им относительно оконченный характер! Дописать недописанные фигуры, замазать фон, наметить нужные детали. Легче стало бы!

Я поставил на мольберт большой холст «В день смерти Ленина» и глядел на него часа два. Сейчас мне картина показалась не такой уж неудачной. Мне даже самому понравились отдельные головы. Особенно головы плачущей женщины и скорбящего старика. Может быть, эта работа была одной из лучших в моем творчестве! Может быть!

Потом я поставил перед собой эскизы к картине «Уход на фронт». И эскизы, особенно один из них, показались мне сегодня недурными. В них мне удалось передать какую-то теплоту. Что мне с ними делать? Кому они сейчас, когда страна переживает такое горе, такие тяжелые дни, – нужны? До станковой живописи сейчас ли? Что дадут мои холсты армии?..

Нужны только агитационные плакаты, героические лубки, сатира... А что если и они сейчас не очень нужны? Мне почему-то кажется, что и они потеряли свой прежний смысл. В 1919-1920-м годах я их делал с глубокой верой в то, что они нужны, что они действуют, бунтуют, зовут, толкают... Теперь я их буду рисовать (не могу не рисовать) без прежней веры!..

Сейчас нужны мешки с песком, противогазы, инструкции, как всем этим пользоваться. Вот здесь еще сможет художник быть актуален и полезен! Нужны здоровые силы, и не тут, в Москве,

а там, где решается участь всех наших 25 лет усилий, где решается участь советской власти.

Я все сижу, прикованный к стулу. Сил нет оторваться от него и взяться за упаковку холстов. Что с ними делать?

...

16 октября 1941 года. Отъезд из Москвы в Ташкент

(В вагоне. Он лежал на скамье и курил. Курил и напряженно, нервно о чем-то думал...)

19 октября

Слезли в Арзамасе. Снег, грязь. Антисемитский разговор у хлебной будки: «Ах, евреи! Чтобы их! Весь хлеб пожрали!».

20 октября

В теплушке, как в Ноевом ковчеге, – животные, люди. Животных везут хозяева теплушки. Две козы, две пары кур, петух. От них грязь, вонь. Рано утром, обычно часа в 4, начинает запевать петух. Его голос, звонкий и бодрый, тянет за собой нить ассоциаций: колхозные картины, сараи, амбары, степь.

После петуха начинают шевелиться козы. Они блеют, стучат копытами и лягают нас, напоминая нам о том, что пора их кормить завтраками. После коз утомительный плач ребенка – обжоры Юрки. Он ревет о том же, чтобы напомнить, что пора ему дать молока.

После Юрки сиплый голос его сухопарой матери. Женщины жесткой, мрачной. Закурив огромную самокрутку, она осыпает дикими ругательствами Юрку и будит свою несчастную подругу Верку.

– Вставай, стерва. Не я же буду кормить ребенка.

После Веры просыпается весь вагон.

22 октября

Пенза. Утро. Дождит. Поезд вошел в переулок красивых эшелонов. Слезли. Вокруг кучи дерьма, пепел, окурки. Оставили вагон-теплушку, в котором провели четверо суток. Воспоминания о хозяйке теплушки Анне Павловне. Жесткий, тяжелый характер. Издевательства над падчерицей Верой. И Феодосий Федорович,



А. Нюренберг. «На вокзале». 1942

колхозник с женой Егоровной и тремя детками. На каждой станции Феодосий Федорович находил колхозников и говорил с ними. По возвращению в вагон, обычно улыбаясь, передавал: «Зовут в колхоз, дают по 600 грамм хлеба, картошки сколько угодно, дают помещение хорошее. Только оставайся!».

Его, как и нас, тянуло на юг. Он не любил холода, хотя родился и вырос на Севере.

* * *

Пенза, как и другие наши северные города, тонет в грязи. Привокзальные переулки, озера, стиснутые унылыми заборами и избами. Пейзаж мрачный. Особенно в дождливый осенний день.

Телеги, едущие по грязным дорогам, застревают в них. На вокзале типичные картины. Сотни бледных, измятых, голодных беженцев с грязными тюками, спасенным под обстрелом скарбом.

Беспомощные старики и старухи, которые спасены во время бегства, придают группкам беженцев особый семейный трога-

тельный характер. Они глубоко дышат. В глазах их блеск непередаваемых страданий и горя.

Я видел, как несли на руках такую старуху. Она виновато глядела на своих носильщиков, и мне казалось, что она просила их не бросать ее в первую лужу.

(23 октября)

Эвакопункт выдает талоны на хлеб и обеды. Обеды – плохие, хлеб – хорош.

Сели в вагон. Грязный, неубранный. В углах – дерьмо. Пришлось самим позаботиться о чистоте. Вагон достали за 300 рублей у агента эвакопункта. Он торгует всем. По 10 р. с человека. Это ужасно. Но люди не хотят лежать в грязи, под дождем и делают все, что можно.

24-25 октября

Против нас у самой двери лежала еврейская семья. Муж с женой, двумя детьми (девочка лет 10 лежала, у нее была ангина) и дряхлым беззубым стариком. Старика везли к внуку. Старик громко стонал, охал. Просыпаясь, он развязно у всех нас просил покурить, жадно хватал протянутую к нему сигарку и, сделав несколько выдыханий, бросал окурок куда попало. Молодого мужчину звали Исаак. Быстро выскочив из вагона, он бросался искать хлеб. Он догонял отходивший поезд и так же виртуозно, ловко вскакивал в вагон. В дверях стояла плачущая жена: «Не хочу твоего хлеба. К черту! Ты мне сердце испортил, сволочь!». Но стоило им и детям съесть запасы хлеба, как они опять начинали ворчать: «Исаак, нет хлеба. Что делать?».

На остановках колхозники выносили морковь в мешках. Все жители поезда высыпали на перрон. Морковь брали с боем. Колхозницы неистово ругали нас обжорами и, продав свой товар, устраивались в стороне, чтобы подсчитать свою необычно большую выручку. Редко разносят вареное мясо (10 рублей кусок) и вареную картошку. Хлеб не продают, его только меняют. На мануфактуру и особенно на мыло. Два раза менял на мыло. Но где же достать столько мыла?



А. Нюренберг. «Под дождем». 1941

Запомнилось, как одна колхозница, распродав бедным беженцам свою холодную картошку, пересчитывала выручку и, оглядев поезд, с чувством сказала:

– Вот страда, какая страда!

Станция Рузаевка

Без конца идут эшелоны с войсками, пушками и вооружением. В противоположную сторону. В сторону Москвы, Тулы. Кадровые красноармейцы хорошо одеты, крепкие. Приятно видеть их.

Пушки в брезентах. Ночью лунный свет делает их и машины сказочными. Машины кажутся скульптурой левых скульпторов. Они плавно движутся, навевая романтические мысли.

* * *

Дорожный вагонный быт властно и незаметно меняет наши привычки. Негде и некогда бриться. Пятый день не бреюсь. Кое-как умываюсь. Мыло в угольной пыли. В ушах, на шее серые волосы. Руки покрыты сухой жесткой кожей. Ухаживание за печью,

пилка дров, водоносные дела, подметание пола деформировали мои руки. Носовые платки мои грязнее половых тряпок. Начал курить самокрутку: кусок газетной бумаги и немного махры. «Самосадик» – большое утешение в этой дороге. Дым самокруток кажется порой ароматным.

Мои женщины охают и стонут. Грязь их одолевает. Они вынуждены сдать. Я вижу на них замызганные халаты, грязную обувь. Ужасны и жестоки выскакивания из вагона ночью на неведомых сырых станциях по делам туалета. Все простые вещи стали очень сложными. Каждый шаг требует больших усилий, напряжений.

Наблюдается усталость воли. В голове одни мысли: где бы накрасть для печки антрацита, где бы дешевле достать картошки, моркови и злосчастного, неуловимого, окруженного легендами хлеба.

Мне кажется, что никогда ни о чем другом я не думал.

Станция «Красный узел»

Вся станция, перрон, вокзал, пути в непролазной липкой грязи. Вдоль путей засохшие кучи дерьма. Оно заполняет все уголки, задворки. К нему привыкли, точно к мрачной необходимости!

На базарчике за вокзалом – морковь, подсолнух и махорка. Все продается в грязных мешках. Мордовцы, чуваша. В лаптях и меховых шапках. Лица широкие, красные, неулыбчивые. Грязь на базаре – точно столярный клей. Галоши прилипают.

Наблюдаются отдельные случаи дезертирства. На станции много дезертиров, слоняющихся без дела. Они предлагают куски хлеба, красноармейские консервы. Двое мне предложили спирт.

Одну группу я остановил.

– Товарищи, что вы тут делаете? – обратился я к ним.

– А мы отстали от поезда и теперь его догоняем.

Это обычный ответ дезертиров. Они заполняют длинные комендатуры, курят «козьи ножки» и тут же у длинных и сонных поездов оставляют некоторые свои следы.

* * *

Я подошел к группе беженцев.

– Далеко едете?

– Ташкент.

– В теплый край?

Говоривший старик страдал одышкой. Он глубоко дышал.

– Мне все равно, куда, – его борода тряслась. – На Север – гибель, на Юг – гибель. Еду на гибель и бежал от гибели. Мне теперь все равно, где умирать.

– Вещи ваши?

– Они мне не нужны. Но бросить их я не могу. Они меня не оставляют. Привязались ко мне. Ох, эти вещи! Там ничего нет особого – тряпье, но тяжело оно, точно камни.

* * *

Плывут поезда. Порой они кажутся бесконечными. Иногда в голове – два мощных паровоза. Все эвакуированное заводское добро. Фашистам не хотели оставлять ничего ценного.

Масса машин, дорогих и сложных станков, электрооборудования, ряд платформ с моторами. Есть нежные, кружевные машины. Обидно видеть, как дожди их омывают. Ржавчина покрывает их и ест. Их везут на Урал, в Сибирь.

Но сколько сил нужно, чтобы восстановить это добро! Сколько!

Этот наши пятилетки, ради которых мы себе во многом отказывали. Это наш актив, наши завоевания, гордость.

Сегодня прошел поезд с машинами Краматорско-харьковского электрозавода. Редко-редко их сопровождает охрана.

* * *

Через несколько стенок – тюремный вагон. Арестованные немцы. Их сопровождает пять красноармейцев. Один из них, чтобы рассеяться, приходит к нам покурить сигарку и поболтать.

– Все арестованные лежат и молчат. Редко говорят, а еще реже поют.

– А как вы с ними разговариваете?

– Поляк один среди них есть. Он им и нам все передает. Одежды плохо. Зимы им не выдержать. Френчишки, гетры и всё. Один в колхозной шубе. Содрал, наверное. Деньги дадут – мы им чего-нибудь купим.

Я его упросил показать. Духота и на койках бледные, исхудалые лица. Вот они – эти бандиты, холодно убивающие наших жен и детей.



А. Нюренберг. «Конвой обреченных». 1942

Мне не хотелось долго их рассматривать. Они были очень жалки и искали в моих глазах сочувствие к себе. Один высокий с гордым в прошлом лицом полулежал и тупо разглядывал все – и меня, и красноармейцев.

Красноармеец их добродушно угощал подсолнухом.

* * *

Есть беженцы, находящиеся уже свыше месяца в пути. Лица их подобны глине. Они знают все эвакуопункты, изучили все карты, узловые станции. Знают вкус кипятка всех станций, больших и малых. Есть такие, которые похоронили своих детей.

Я видел группу учителей. Они из Горловки, Донбасса. Они в дороге уже 32 дня. Живут на открытой площадке. Из снегозадерживающих щитов и соломы они соорудили себе хижину и жили в ней, выскакивая в самых острых случаях.

Я разговаривал с ними. Они думают таким образом добраться до Челябинска.

– Живем, как Робинзоны Крузо.



А. Нюрнберг. «У очага. Эвакуация». 1941

Станция Батраки

Сажу в оперпункте ст. Батраки*. Дежурный держит у уха трубку и ведет оперативный разговор:

– Это кто? Начальник станции? Говорит дежурный по милиции. На 2 парке, третьей путя лежит труп женский, снятый с поезда. Человек уснул и замерз. При ней найдено много барахла. Барахло зашили в мешок и по описи сдали в архив. Надо труп убрать и похоронить,

а то собаки съедят, будут неприятности.

– Чо! Не. Мы не будем убирать. На кой черт труп нам! При замерзшей женщине найдены документы – инженер с Донбасса.

– Повторяю, поняли? Надо убрать. Всё.

* * *

Сегодня я в отчаянии бросился к начальнику ст. Батраки. Секретарь меня принял в теплой прибранной комнате. Цветы, ковры, теплый дружеский разговор со мною так подействовали на меня, что я готов был обнять секретаря и наговорить ему тысячу нежных слов.

Я попросил его помочь мне сесть в ташкентский поезд, пообещав за помощь любую художественную работу. Он охотно принял мое предложение.

– Сделайте нам художественный плакат, а мы вас хорошо накормим и художественно посадим в вагон.

Сегодня я акварелью написал им антифашистский плакат (начальник часто приходил глядеть, как я работал) и получил целый каравай пшеничного хлеба. Я держал каравай в руках как самое драгоценное сокровище. Чтобы не вызывать зависть в беженцах, я его завернул в газету. Давно я уже не испытывал такой нежности к хлебу. Я шел по железнодорожным путям, по мокро-

* Батраки – город на Волге.

му снегу, шел, пощипывая корку каравая, и ел. Каким вкусным казался мне этот хлеб.

Мое художественное ремесло часто в жизни меня спасало.

Отъезд из Батраков

Раннее утро. Неба не видно. Мгла. Мы на разъезде. Падает сухой снег. В щелях вагона свист ветра. Выскакиваю из вагона и вижу – за станционными кирпичными домами щиты. Они сложены, как дрова. Оглядываюсь – ни души. Бросаюсь к ним, хватаю один из них, взваливаю себе на плечи и несусь к вагону. Стучу, открывают. Все идет хорошо. Ночь будет теплая. Мы отдохнем и согреемся.

Но тут происходит следующее. Неизвестно откуда приходит высокая фигура железнодорожника. меховая шапка и неприветливое, как снежное небо, лицо. Несколько минут фигура молчит, жестко разглядывая меня и щит. Я жду нерадостных событий.

– Где брал щит? – слышу я мрачный голос.

– Там за зданием, – спокойно отвечаю я.

– Положь обратно.

– Да ведь это старый, негодный щит, – пробую я его уговорить. – У нас больные женщины, дети.

– Положь обратно, – повторяет железнодорожник.

И пока я раздумываю над тем, что делать, железнодорожник степенно вынимает книжку и на ней что-то начинает записывать.

– Вот протокол составлю. Будете знать, как красть казенное имущество. Каждый вагон по щиту – все разберут. Щепки не останется. Из-за вас крушения пойдут. Ну, что мы будем делать, если бураны разыграются? Ведь сейчас зима. Подумайте. Не стыдно вам?

Чувствую стыд. Отношу щит на то место, где я его брал. Ребята смеются надо мною. Слышу: слабодушный интеллигент!

К вечеру температура в вагоне резко падает. Даже в теплом пальто холодно. Полина съежилась, укрылась коврами. Неля греется у остывающей печки. Лицо ее полно безнадежности.

Боязнь замерзнуть толкает нас на новую кражу. На ближайшей станции мы нашли две шпалы и молниеносно втащили

их в вагон. Ну и славно провели мы ночь. Приготовили горячий ужин – сало с луком, чай с сахаром. Постелили постель и уснули. Блаженно спали.

На каком-то неизвестном разъезде мы наворовали столько дров, что железнодорожному начальству пришлось вызвать милицию. Наш вагон идет, овеянный славой «самый воровской». Но слава не мешает нам спать со спокойной совестью.

* * *

...Утром мы узнали, что вагон наш отцепили, и он пойдет на Алма-Ату. Пришлось заняться утомительными железнодорожными делами. Никогда я не думал, что у нас столько холодных и равнодушных людей! Все разговаривают через плечо, сверху вниз. Грубы, неряшливы в обращении.

Пришлось пустить в ход испытанное средство – хлестаковщину. «Командирован газетой «Правдой». Произвело впечатление, конечно, больше, чем художник. Меня стали внимательно слушать и со мной стали считаться. Сколько хлестаковщины сейчас в беженской жизни!

* * *

Под влиянием усталости и плохого питания атрофируется воля. Все меньше желания убрать вагон, подмести пол, сбежать за водой. Этим заболели все мы.

13 декабря 1941. Ташкент

Сегодня ночью была облава. В 3 часа ночи постучали в окно. Милиция и два узбека. Они уже знали все обо мне. И мне ничего не оставалось, как согласиться со всем, что соседи им передали. Держались грубо. Забрали документы и предложили сходить во 2-е отделение. Там в отвратной форме начальник 2-го отделения учинил мне допрос. Я ему в мягкой, почти заискивающей форме рассказал о себе, о больной Полине. Начальник выслушал. Глаза были подобны двум кусочкам льда.

– Так. Ваша национальность?

– Еврей. Зачем это вам?

– Распоряжение Союза, что вам следует выехать из Ташкента в 24 часа.

Получив документы и расписавшись, что в 24 часа должен покинуть этот лучезарный и гостеприимный город, возвращаюсь, думая о том, насколько все это напоминает мне дореволюционное время. Я в Москве, блуждаю по знакомым и прячусь на бластных квартирах. Еврей. Точь-в-точь.

Но я решил не сдаваться. И завтра начну хлопотать с утроенной силой.

...

14 февраля 1942 года

Сегодня первое письмо из Москвы от Тихомировых*. Боже мой, как потянуло туда. Они пишут о морозах 30-градусных, о холодных квартирах, о колючем, скрипящем под ногами снеге, а нам письмо кажется живым, точно от него исходит легкий пар.

Что бы я ни дал, чтобы очутиться сейчас в своей квартире, в своей мастерской. У окна, за которым такое небо, такие закаты!

22 февраля

Нечего есть. Полина и Неля чудовищно раздражены. Главный обвиняемый во всех неприятностях, разумеется, я. Схватил простыню и помчался на рынок, где мне удалось выручить за нее 150 рублей и купить крупу.

17 апреля. Мой день рождения

Собираемся по вечерам и мечтаем о Москве. Каждый из нас мечтает о своей близкой, им обласканной Москве. О городе, им выдуманном и нарисованном. Полина думает о Москве девицкой, о санках, о матери. Неля о театре, концертах, подружках.

Я.

Никогда этот чуждый, мне казалось, город не станет таким близким, дорогим. Тяга непреодолимая к встрече с ним. Особенно мастерская вспоминается.

* Александр Тихомиров (1889-1969) – искусствовед, художник. Тихомиров с женой были соседями Нюренбергов в Доме художников № 9 на Верхней Масловке в Москве.



А. Нюренберг. «Расстрел». 1943

*1942, Октябрь. Ташкент. В глубоком тылу
О моей работе над картиной «Расстрел»*

Пишу большое полотно «Расстрел». Мой творческий день проходит в следующем порядке. Встаю в 6 часов, растапливаю печку-мангалку. Я научился раздувать большое пламя. Огонь я делаю в обеих печках, которые в этот ранний час уже горят. К 8 часам завтрак готов – кукурузные лепешки с луком на хлопковом масле и чай фруктовый.

С 8 часов живопись. Мне позирует жена. Иногда дочь. Пишу с увлечением до 1-2 часов. Опять мангалка – каша и опять чай. После 2 часов – беганье по рынкам с простынями, рубашами и галошами. Удачная продажа, и я возвращаюсь домой с помидорами

и тыквой. Порой с яблоками. Потом опять живопись на 2-3 часа. К 6 часам я уже в столовой на Фрунзенской, 24. Обед приношу в сумерки – и он у нас идет как ужин.

* * *

Полина позирует мне за всех персонажей. Очень трудно достать модели. Нужны деньги и большие усилия. Весь двор при моем появлении шарахается в сторону. Боятся попасться художнику на глаза. Я хватаю всех, даже тех, которые спешат в уборную. Рисовал двух оборванцев.

Полина постепенно втянулась в мою работу над картиной. Она волнуется не меньше, чем я. Все детали мы обсуждаем совместно. Дело дошло до того, что сегодня она, когда я отправился за обедом, переписала по-своему руку у центральной женской фигуры.

Работаю с трудом. Нет красок нужных (киновари, кобальта), нет кистей. Полина их делает из платяной щетки. Нет лака, нет растворителей. Продаю опять вещи (старый холст) и пишу к юбилейной выставке московской и республиканской узбекской.

Достал одного дядьку, с которого пишу этюд для расстреливаемых. Лицо его цвета глины, руки висят, одежда – рвань. Он отказался брать деньги за позировку:

– Мне хочется сделать художнику одолжение. Художники такие же оборванцы, как я. Так же плохо живут и плохо одеты, – с чувством сказал он.

Это меня поразило.

16 октября

Сегодня ровно год как мы из Москвы. Вспоминается морозная ночь на Казанском вокзале. Чудовищная посадка в чужой вагон среди враждебных людей и предутренняя бомбардировка нашего поезда. Мы стояли, точно окаменев. Ни движения, ни одного слова.



А. Нюренберг. «Горе». 1942



А. Нюрнберг. «Беспризорный». 1941

Один фашистский аэроплан был сбит. Он упал, объятый ярким пламенем. Поезд покинул вокзальную территорию, по которой все плутал, только в 9 часов. Тихо-тихо отходил горемычный поезд наш.

* * *

Все пишу расстрел. Позировал столяр-пьяница. Он стоял твердо на своих крепких ногах и развивал мысль о:

– Если не пить, не есть, с женщинами не спать, то на кой же черт жить на свете? Есть дураки, которые хвастаются, что никогда рюмки вообще не выпили. По-моему, таких людей без жалости травить нужно. Вот спирт сейчас стоит 320 рублей литр, а у него я пить не буду. Без алкоголя человек вянет и засыхает. По-моему,

художник должен выпивать по 4 литра в день. Тогда ему легче работать.

Бегаю на рынок. Сегодня продал галоши. Купил красок и масла у одного нуждающегося художника. Достал юбку с цветами для женской фигуры.

* * *

Другой натурщик – украинец. Ноги и руки... Он долго и домовито все раскладывал. Руки и ноги большие, крепкие, насыщенные красками и мускулами.

Воспоминания об Украине:

– Сало? Арбузы, сливы и вишня? Сало я только зимой ел. В замороженном виде с чесночком и соленым огурчиком. Арбузы?

Только пока подносили – они трескались. Не то что здесь. Невкусные здесь. Ну, а сливы и груши, их столько, что не знаешь, что с ними делать. Варишь, сушишь, раздаешь людям. Продаешь. И все – целые возы остаются.

Позирует и ест. Ранен был под Москвой. Лежал во многих госпиталях:

– Вот управимся с немцами, тогда и об Украине подумаем. А пока что надо кормиться, чтобы не подохнуть.



А. Нюренберг. «Ташкентский переулочек». 1942

18 октября

Продал Нелины галоши и купил два кило кукурузной муки. У нас с ней большой роман. Лепешки из кукурузной муки – наше любимое блюдо. Надо много и хитро есть, чтобы иметь силы для живописи. Пишу 10-12 часов в день.

Природа сейчас потрясает. Весь Ташкент утопает в золотых одеждах. Природа всегда лучше людей. Это особенно остро ощущаешь здесь, в Ташкенте.

* * *

Вошел во вкус живописи. Взялся за другое полотно (название «Партизанка»). Полотно небольшое, построенное на романтизме и лирике.

* * *

Позирует боевой парень. С живым умом и жестами. Человек знал толк в большой жизни.

– Вы мне 5 рублей дадите. Что я могу сделать с ними? Но я хочу помочь искусству. Я сам художник. Я ел в Национале. Выступал на баяне с поющим тенором. Он уехал, меня бросил. Я жизнью

доволен. Мне мало нужно. Трудно платить 5 рублей – платите 3. Трудно 3 – ничего не платите. Мне ваши деньги не нужны. Я на них плюю. Мне интересно иметь дело с художником, помочь искусству.

* * *

Еврей натурщик.

– Сейчас никому не нужно искусство. Хлеб, снаряды, танки и аэропланы... Моя цель. Опять торговать старыми вещами на барахолке, продавать гитлеровские шинели, каски и ружья. Я после империалистической войны уже торговал военным имуществом. И медалями, и саблями. Все это я продавал как нужное только артистам барахло.

Ташкент. 1942 год. В глубоком тылу

Вечером во время прогулки испытал страх. Увлёкся и зашел на чужой огород. Вдруг передо мной мужчина с широкой черной бородой, в шляпе. Он стоял передо мной, неожиданно выросши из земли. Стоял на моем пути, готовый к нападению. Мне даже показалось, что в руках у него была дубина. Я остановился, чувствовал, как сердце упало. И как подвели руки и ноги. Бежать было бесполезно. Я также стал готовиться к драке. Напряг все мои силы, чем отразить удар? Кругом кусты и камыш. Наконец я собрал все силы и крикнул: «Кто там?». Молчание. Второй раз. Решил медленно, не теряя боеспособности, отойти в сторону.

И каково же было мое удивление, когда силуэт мужчины расплоился, и передо мной предстали три подсолнуха.

1 января 1943 года

Эпидемия тифа. Новый год провел в очереди за хлебом.

Продолжение следует

